

Константин
ВОРОБЬЕВ

*Вот пришел
великан*



Константин Воробьев
Вот пришел великан

«ЭКСМО»

1971

Воробьев К. Д.

Вот пришел великан / К. Д. Воробьев — «Эксмо», 1971

К.Д. Воробьева называют «русским Хемингуэем», и споры вокруг его имени не утихают до сих пор. А он продолжает удивлять читателя искренностью и пронзительностью повествования, убежденностью авторской позиции, о чем бы ни писал: о войне, о любви, о трагедии русской деревни, пережившей коллективизацию, об утрате самой необходимости быть хозяином на родной земле.

© Воробьев К. Д., 1971

© Эксмо, 1971

Константин Дмитриевич Воробьев

Вот пришел великан

Я хорошо понимаю, что читателю не очень нужно все это знать, но мне-то очень нужно рассказать ему об этом.

Жан-Жак Руссо

Я позвонил ей по телефону минуты за три до обеденного перерыва, и мы встретились на лестничной клетке своего этажа. Тогда я впервые взял ее под руку при всех сотрудниках – они шли в буфет на третий этаж – и повел по коридору к окну, где стояли два стула. «Ты сошел с ума! Что случилось? Ты сошел с ума!» – под колючий косяной цокот своих каблуков безгласно кричала она мне, глядя перед собой, и вид у нее был почти полуобморочный и в то же время тайно-радостный. На подоконнике и стульях лежал и метельно шевелился слой тополиного пуха, и там я сказал ей, что распиналка над нами назначена на восемнадцать часов. Я был тогда в той степени отвращения к ближним своим, когда ты приходишь к решению, что жить можно лишь в том случае, если помнить о головокружительной бесконечности Вселенной, перед которой человеческая возня смешна и бессмысленна, – в этом случае ты не только обретаешь спокойствие безразличия, но становишься способным на отпор и дерзость. Я сказал ей, чтобы она не являлась на этот суд над нами и шла домой сейчас же.

– А ты сам? А ты сам куда?

Ей немного не хватало до обморока, и я вдруг будто со стороны увидел, как некрасива, мелка и тщедушна фигурка этой полуживой от страха женщины с седеющей головой на нервной тонкой шее, похожей на ручку контрабаса, и как смешно и бессмысленно все то, что готовится нынче к шести часам вечера ей и мне.

– Вот пришел великан. Большой, большой великан. Такой смешной, смешной. Вот пришел он и упал, – сказал я ей. Всю нашу жизнь – нашу жизнь! – я говорил ей эти слова, когда ничего другого нельзя было придумать.

Я нарочно подождал, пока в коридоре раздались чьи-то шаги, и поцеловал ее в открытую шею, в самую ямку «контрабаса». Там успела приютиться мохнатая тополиная пушинка, прижавшая к моим губам, и она сняла ее с меня щепоткой холодных пальцев и пошла по коридору на выход. Я умышленно загляделся в окно, придав себе застигнутый вид. Я стоял и слушал шаги двоих – удаляющиеся перебойно-дробные ее, будто она готовилась и не решалась бежать, и размеренно-пристойную мужскую кладку каблуков того, кто нас «застукал». Когда я оглянулся – мне пора было помочь ей там, – она уже разминулась с бедой, но шла впритирку к глухой коридорной стене и руки держала по бокам врасстычку.

– Я позвоню тебе домой сразу же после этого! – сказал я ненужно громко вдогон ей, и она в самом деле тогда побежала, а я достал сигареты и закурил. Вениамин Григорьевич стоял у дверей своего кабинета, заложив руки назад, тесно составив курносые чистенькие ботинки, и как-то радостно-обретенно смотрел в конец коридора. Я стоял и ждал, когда он оглянется в мою сторону. Он хозяйски-благополучно кашлянул и, минуя меня взглядом, повернулся к двери. Тогда я окликнул его сам. Я спросил, не помнит ли он со времен сороковых годов папиросы под названием «Для знатоков». Длинные такие, душистые. «Для знатоков», – опять сказал я с этим ударением. Он подумал и ответил, что не увлекался.

– Это вы совершенно зря делали, товарищ Владыкин, – сказал я без всякого ожесточения. – Ведь только увлечение приводило людей к великим открытиям, украсившим нашу землю!

Он ничего не сказал и скрылся за дверью.

С Вениамином Григорьевичем мы впервые встретились год тому назад. До этого, после окончания Литинститута, я долго плавал в Атлантике матросом на рыболовном траулере, –

нужно было заработать деньги, чтоб сесть и написать книгу. Я все сделал так, как хотел, – купил комнату и потрепанный «Москвич» первого выпуска, новую резиновую лодку и одинарную палатку с голубым марлевым окном. Свое первое вольное лето я жил и писал близ озер, – в наших местах их больше чем нужно. Осенью, чтобы помнить об озерах, я нарочно оставил лодку дома, возле секретера, где стояли удочки и спиннинг, и за зиму резина пересохла и расклеилась. Я обнаружил это весной, когда повесть была закончена и жить стало нечем. На озере, если оно находилось где-нибудь у чертей на куличках, ощущение мира обновлялось, и возникало снова – в который раз! – пресловутое «а вдруг?».

Лодку я клеивал во дворе, утром, пока стол-самоделка пустовал без козлятников. Уже истомно пахли почки городских лип, верещали скворцы, и теплый ветер подувал с разных направлений, кружа подушечный пух, обрывки газет, пыль и сор – прах нашего большого кооперативного дома. Я клеил и видел, как из подъезда вышла женщина с курицей и ножом в руках. Следом за ней шел ее муж. Это были симпатичные люди – пожилые, молчаливые и опрятные: в свое время они вернулись с Севера, и в доме и во дворе не было их видно и слышно. Супруги оглядели двор, о чем-то пошептались, и я все понял и переместился, чтобы оказаться спиной к ним. Удивительное это дело: тот, кто вернулся оттуда, не в состоянии потом зарезать курицу. «Сейчас они подойдут и попросят, – подумал я. – Но, может, постесняются?»

– Вы не могли бы вот ее, а? – сипло спросила женщина, и я подумал, что курицу они купунали вдвоем и, пока плелись с базара, успели привыкнуть к ней и полюбить.

Когда все было кончено и золотистые курицыны глаза померкли, а кровь иссякла, впитавшись в пыль, женщина, не взглянув на меня, пошла прочь той напряженной непреклонной походкой, какой уходят люди от темных и злых мест. Я принялся за прерванную работу, но лодка не клеилась: хотелось скорей очутиться на каком-нибудь озере, и в то же время я думал над тайной крови, почему ее нельзя отворять, особенно при солнце... Не знаю, как это связалось тогда с моим настроением, но я тихонько засвистел мелодию старинной песни про чайку, убитую безвестным охотником. Когда-то, давно, эту песню пела моя мать. Она выводила ее почти на крике, исступленно и тоскующе.

– Хорошая песня! – убежденно и задумчиво проговорили у меня за плечом. Это сказал муж женщины, унесшей зарезанную курицу. Я понимал, что ему некуда деваться, пока курицу не распотрошат, и подвинулся, освобождая место на скамейке. Он присел, отказался от папироски и сказал снова:

– Хорошая была песня...

– Конечно, – сказал я, невольно раздражаясь на что-то. – Хотя русский человек редко пел от добра, но в этом случае он бывал истинным творцом. Вы не находите?

– Какое там добро! – с какой-то смиренной кротостью сказал муж, а я надеялся, что он не согласится.

– Я слышал эту песню раза два или три. В детстве, – сказал я неизвестно зачем.

– А я однажды, – не сразу сказал муж. Он глядел куда-то в поднебесье. Глаза у него были жидко-голубые, как вода, и по левой щеке от ноздри к заушью пролегал хорошо пробритый шрам. Под столом и у нас под ногами бродили разжиревшие голуби, потерявшие обличье вольных птиц. Я шугнул их, а муж неодобрительно взглянул на меня и хмыкнул, – голубей ведь положено любить, раз мы боремся за мир во всем мире. Ему, как видно, хотелось потолковать про убитую чайку, потому что через минуту он сказал опять:

– Да, русская была та песня!

Голуби снова слетелись к нашим ногам, и я опять шугнул на них, а муж, глядя в поднебесье, сказал:

– Я тогда стоял часовым, а на заре перед самым расстрелом он, значит, подозвал меня и попросил дозволения спеть.

– А кто он был? – спросил я.

– Белобандит наш, поручик, – тоном охотника, когда тот рассказывает о набежавшем на него зайце, сказал муж.

– Вы позволили?

– Нет, сам я не имел прав... Тогда он, между прочим, дал мне портсигар и попросил покликать комиссара.

– Вы позвали? – спросил я.

– Другие это сделали. Сам я не мог. Он же в непригодном помещении содержался. В амбаре.

– Удрать мог? – предположил я.

– Смело! – сказал муж.

– Что ж комиссар?

– Не разрешил сразу.

– А как поручик просил его?

– По-хорошему. Дозволь, дескать, перед смертью спеть мою любимую...

– И чем кончилось? – спросил я.

– Спе-ел, – охотничьим тоном сказал муж. – Отрядные наши потребовали у комиссара, чтоб спел... Он, помню, пошел навстречу и согласился, но чтоб в амбаре, значит, а поручик хотел на воле. Ну мы уговорили комиссара, пускай, мол, на месте, в степи... И там он спел. Ох и спел же! Встал, понимаете, к восходу, обратил глаза на солнце и – до конца!..

Я свернул лодку, вогнал ее в мешок и сказал, что эти поручики умели, черт их возьми, красиво умирать.

– А что им оставалось? – усмехнулся муж.

– Конечно, – сказал я. – Но странно, что вы до сих пор помните это... Песня мешает?

Он вприщур посмотрел на меня и поднялся со скамьи.

– Песня, дорогой товарищ, никогда не мешала жизни. Вот если наоборот – дело другое! Поняли?

Сказал и ушел.

А неделю спустя я понес в местное издательство свою повесть. Она была отпечатана на старой канцелярской машинке и на плохой серой бумаге, и чтобы скрасить этот внешний недостаток рукописи, я переплел ее за троак в отличные дерматиновые корки, а название «Куда летят альбатросы» и свое имя «Антон Кержун» наклеил заглавными буквами, подобранными и вырезанными из «Огонька». Когда я в свое время нанимался в матросы, а затем долго был им, то меня все время не покидало тайное сознание своей маленькой исключительности, – как-никак, за плечами у меня был заочный Литературный институт и та цель, ради которой я добровольно, а не вынужденно оказался среди людей... ну, скажем, не всегда умеющих быть джентльменами. Я постоянно помнил о своей будущей книге, о новых интересных знакомствах и немножко о гонораре. Может, оттого слово «издательство» звучало для меня чуть-чуть возвышенно и оторапливающе, и я робел перед ним.

Издательство размещалось на шестом этаже. В лифте перевозили куда-то железные корзинки с бутылками кефира, и я пошел вверх пешком. То, что каменные ступени лестницы были разбиты, грязны и заплеваны, а стены и проемы окон выкрашены в бездарный свинцово-коричневый колер, внушило мне странным образом уверенность, что повесть свою я написал хорошо. На шестом этаже это чувство во мне окрепло еще больше, – коридор тут был удручающе узок, сумрачен и бесконечен, и по левой его стороне густо темнели низенькие одностворные двери с табличками о времени приема авторов, и возле притолок дверей стояли жестяные урны-пепельницы, как в любой порядочной конторе. Я немного побродил по коридору, а потом постучал в дверь комнаты, что была рядом с туалетной, – это соседство кабинетов тоже почему-то ободряло меня. Комната оказалась величиной с могилу, вырытую в негожую осеннюю пору, и в ней каким-то чудом умещались три стола – два вдоль стены, а третий

барьером между ними. На нем лежал какой-то выгоревший бумажный хлам, а за пристенными столами сидели две женщины: ближняя ко мне – толстенькая и беленькая пышка, с бесстрастными фиолетовыми губами, собранными в трубочку, – сосала, наверное, конфету, а дальняя – цыганово-смуглая, стриженная под пацана. Я направился к ней потому, что она выжидательно смотрела мне под ноги, и потому, что над ее головой к стене была пришпилена фотография Хемингуэя. Я еще не успел миновать барьерный стол, когда она спросила, что у меня, и я издал протянул ей рукопись и совершенно глупо и неожиданно для себя поклонился. Тогда выдалась затяжная пауза, – она удивленно покачала на руках повесть, потом поцарапала на ней ногтем заглавную букву моей фамилии.

– Намерены переиздать? Вера, обрати внимание, какой роскошный переплет!

На меня она не смотрела. Я не видел повода для такого вопроса и сказал, что повесть оригинальная.

– Вот как?

Она опять как-то недоуменно и капризно, как школьница кляксу в своей тетради, поцарапала букву «К», затем сказала, придерживая над ртом большой цветной карандаш:

– Понятно. И куда они у вас летят?

Если бы у меня спросили это на траулере, а женщин у нас там не было, я б, наверное, с ходу и всего лишь двумя словами ответил, куда летят мои альбатросы, но тут был не траулер, и я вежливо сказал, что альбатросы обычно летят за кораблем.

– Неужели? – не отрывая глаз от чьей-то несчастной, как мне подумалось, рукописи, шепеляво сказала пышка. – Что их приманивает?

– В своей повести я объясняю это достаточно ясно, – сказал я. Пышка вскинула на меня круглые печальные глаза и сказала лениво, но заинтересованно:

– Даже объясняете? Это потрясно!

Она засмеялась, приглашающе взглянув на ту, вторую, и я увидел на ее малиновом языке льдистый обсосок дешевого леденца. Тут был не траулер, и я молчал. Я стоял в тесном закутке возле барьерного стола, и острый угол его крышки упирался мне в брюки так, что я все время помнил о возможной оплошности с пуговицами, и от этого у меня давно намокла рубашка под мышками.

– Видите ли, на ближайšie два года у нас уже сверстан план издания оригинальной литературы, поэтому...

Это сказала поклонница Хемингуэя, возвращая мне рукопись, и я принял ее зачем-то обеими руками и опять неожиданно для себя поклонился. Я пошел к дверям раскачной корабельной походкой, чтоб казаться независимей, и там на пороге столкнулся с хозяином курицы, которую я зарезал пару недель тому назад, когда клеил лодку. Он узнал меня и отступил в коридор, потому что дверь открыл я первый, и там мы поздоровались, и я закурил. «Муж», как я мысленно называл его, отказался от сигареты и ради приличия спросил, что у меня хорошего. На нем был старомодный плечистый пиджак с черными молескиновыми нарукавниками, и я решил, что он служит в бухгалтерии. Я сказал ему – в шутку, понятно, – что пытался ограбить издательскую кассу, да вот не вышло.

– Как то есть ограбить?

Он спросил это вполне серьезно и немного растерянно, и мне понадобилось объяснить ему, что я имел в виду.

– Это неправильно, – сказал он, но я не понял что. – Дайте-ка...

Он взял у меня рукопись и уважительно оглядел и погладил переплет. Наверное, ему понравился и заголовок повести, – он дважды прочел его шепотом, и «альбатросы» получались у него «альбатросами». Мы стояли у двери, в которой столкнулись, и я все время ждал, что за нею вот-вот раздастся пышкин смех.

– Тема современная? – спросил «муж».

Я молча подтвердил.

– Адрес свой и все такое указали?

– Да-да, – сказал я, – все указано... Вы хотите передать кому-нибудь?

– Да нет, зачем... Посмотрим тут сами, – веско сказал он, – зайдите через месяц ко мне прямо...

Простился я с ним не в меру почтительно. В нем тогда все: и шрам на лице, и детски наивная голубизна глаз, и даже нелепые нарукавники – приобрело для меня какое-то – хоть и не до конца постигнутое – обещающее значение, и я вышел из издательства своей нормальной, а не матросской походкой, которой проходил мимо пышки.

Несколько дней я жил неуютно и тревожно, – мне почему-то не хотелось неурочно встретиться с «мужем» во дворе или на улице, и надо было уехать на дальнее озеро. Тогда в спортивном магазине давали шведские кованые крючки и немецкую радужную леску на поводки. Я купил то и другое и когда выходил из магазина, то возле своей машины увидел «хемингуэйку», – она неловко, перехилилась, держала на руках новый красно-голубой матрац: наверно, ей не удалось втиснуться с ним в автобус, потому что в капиллярах матраца оставался воздух. Она увидела меня издали и отвернулась, но с места не двинулась, – ждала хозяина моего драндулета. Я подошел к нему, открыл заднюю дверцу, а ей сказал: «Кладите, пожалуйста». Я сказал это без всякой иронии и помог ей впихнуть матрац на заднее сиденье.

– Я не знала, что это ваша... А такси нет...

У нее пунцово горели щеки. Я придурковато сказал, что как-нибудь доедем, и это ее подбодрило. Наверно, для того чтобы полностью обрести себя, редактрису, она знакомым мне царпным жестом школьницы дотронулась до вмятины на крыле машины и спросила, где это ее так изувечили. Я сказал, что это не «она», а «он».

– Он?

– Он, «Росинант», – объяснил я, и она с каким-то новым вниманием посмотрела на меня и не очень смело села в машину. Ей, видно, все же хотелось как-нибудь умалить степень моей непрошенной услуги, потому что, как только я включил скорость, она подчеркнуто спросила, почему мой автомобиль подпрыгивает на ровном месте. Я напомнил, что «Росинанту» почти четыреста лет, устал, мол, и похлопал рукой по рулю.

– Теперь понятно, – светски сказала она. – Кстати, вы неосновательно жаловались на меня Владыкину.

– Разве? А кто это? – спросил я.

– Вениамин Григорьевич! – едко сказала она.

– Тот товарищ, что носит нарукавники? – догадался я и поздно сообразил, что сказал это зря. Она высокомерно взглянула на меня и пожала одним плечом, приподняв его к уху, как это делают не по годам серьезные дети. Я понимал, что она хотела выразить этим своим движением, и невольно засмеялся.

– Вы не могли бы побыстрее ехать? – сухо сказала она.

– Вам к издательству? – спросил я.

– Почему? Мне надо домой. На улицу Софьи Перовской, дом десять. Пожалуйста!

– Благодарю вас, – галантно сказал я, и она откинулась на сиденье и вдруг подалась вперед и затаилась: со мной давно ездили два снимка Хемингуэя, – лакированно-красочных и грустных, наклеенных к ветровому стеклу в правой нижней стороне. На одном он был снят рядом с убитым леопардом, а на втором – в лодке. Она смотрела на них с каким-то страдающим напряжением, и я видел, что ей хочется потрогать их мизинцем.

– Где вы это... достали? – спросила она и показала на снимки не рукой, а глазами. Я немного помедлил с ответом, – впереди был красный свет, – потом сказал, что купил их на Кубе. Она недоверчиво усмехнулась, но на меня не взглянула.

– В Гаване, – уточнил я.

– Скажите пожалуйста!

– Я был там дважды, – безразлично сказал я, потому что это была правда.

– Каким, простите, путем?

– Водным. Мы заходили туда сдавать рыбу... Если вас интересует кубинский Дом-музей Хемингуэя в Финка-Вихия, то должен сказать, что это печальное зрелище, – сообщил я, что было тоже правдой.

– Почему?

– Потому, что дом без хозяина...

– Да, пожалуй... И вы написали об этом в своей повести?

– И об этом, – сказал я.

– А еще о чем?

– Об акулах, о крабах с ногами на спине, о бонитах, медузах.

– Вы разве ихтиолог?

– Нет, – сказал я.

– Ну хорошо. А еще о чем?

– А еще о ностальгии... Об огнях Святого Эльма, – бесстрастно сказал я.

– Понимаете, я хочу спросить, каков сюжет вашей вещи, в чем главный смысл ее? – оторопело сказала она. Матрац топорщился на заднем сиденье, и я протянул к нему руку и сказал, что книга не должна походить на эту штуку.

– Не понимаю, – настороженно сказала она.

– Отлично понимаете, – сказал я. – Вы спрашивали о конечной заданности произведения, а я полагаю, что это не двуспальный матрац, смысл и назначение которого предельно выражены для каждого и формой его, и содержанием.

– Очень нелепое сравнение! – сказала она и отвернулась. Дальше мы ехали молча, и я знал, что у своего дома она непременно захочет заплатить мне за проезд. «Наверно, даст серебряный рубль, если он есть у нее, его удобно кинуть на сиденье, эффекта больше», – подумал я, и это так и случилось. Я подбросил рубль на ладони, потом попробовал его на зуб. Она брезгливо и в то же время обеспокоенно спросила, что я делаю, и я объяснил: проверяю, мол, не фальшивый ли.

– Могу заменить на бумажный! – раздраженно сказала она, но я предположил, что фальшивые бумажные рубли изготавливать ей еще проще, чем металлические, поскольку она работает в издательстве и имеет доступ в типографию. Я сказал это ровно и убежденно, и она посмотрела на меня с тем недоуменно-мученическим вниманием, с каким разглядывала снимки Хемингуэя.

В тот же день я уехал из города. До моего прошлогоднего озера было километров сорок по песчано-лесистому проселку, пустынному и диковатому. Стояла неважная для рыбалки погода – тихая, яркая и засушливая, но проселок был еще по-весеннему плотным и легким, и на опушках сосновых подлесков то и дело попадались колонии анемонов. Я остановился на своем прежнем месте. Тут сохранилось все в целости – обмелевший ровик и колышки для палатки, обуглившиеся рогульки для подвески котелка, голубая развеянная зола кострища, пологий травянистый спуск к озеру, заросший молодой «куриной слепотой», само озеро, кипящее по осокистым закрайкам, – наверно, нерестилась плотва. Я привез с собой для прикорма два целлофановых мешка с пареным горохом и пшеницей, а за наживкой пошел на тот конец озера, – там я знал бабу Звукариху, одиноко жившую в километре от деревни Звукарёвки. Изба ее сидела на самом берегу озера под нависью старых раки, и на ее крылечном конике алели три большие звезды из фанеры, приколотенные одна над другой, – неукорный знак живым о том, что Звукариха не дождалась с войны трех сыновей. Бабка кормила кур возле крыльца. Она успела загореть и обветриться с лица, – огород, где я обычно добывал червей, был вскопан и разделен на грядки, и там уже выметывал третий лист огуречник и щетинился лук. Я стал

спиной к фанерным звездам и поцеловал ее трижды – в щеки и в лоб, и она заплакала, а я достал из сумки и положил ей в фартук килограмм дрожжей: сколько раз просила привезти еще в прошлом году.

– В следующий раз опять привезу, – сказал я. – Все слава богу?

– А гоню кой-када, – призналась она, поняв меня правильно. Самогон выходил у ней слабый и кислый, и сбывала она его только хорошим людям по рублю за пол-литра. За прошлое лето я стал для нее этим хорошим человеком. Звукариха спросила, долго ли я тут заживу, сходила в избу и вынесла сизую бутылку с тряпичным кляпом вместо пробки. Пока что мне это не требовалось, но ей, возможно, нужен был рубль, и я с удовольствием достал из кармана тот металлический, что «заработал» утром при перевозке матраца.

– Не карай, не карай! – замахала она руками. – То ж я за дрожжи.

– Этот рубль принесет тебе счастье, – сказал я и сам поверил в это. – Ты его спрячь и не трогай, а на Новый год он принесет тебе большое светлое счастье!

Она беспомощно взяла рубль и суеверно поглядела на коник крыльца. Я во второй раз поцеловал ее в лоб и щеки, и она снова заплакала...

А рыба почти не брала. Ни в первую, ни во вторую неделю. Я не брился, и моя борода начала завиваться в колечки. Я мало ел и плохо спал: тут, в одиночестве, во мне еще больше укрепился какой-то смутный страх перед неизбежным приходом в издательство. Я высчитал, когда это должно случиться, и число дня выпало нечетным, невезучим для меня, и было тревожно, что «муж» оказался не просто «мужем» и, как мне тогда подумалось, бухгалтером издательства, а кем-то другим. Погода стояла по-прежнему солнечная и спокойная. В деревне за озером ни днем ни ночью не смолкали петухи, и над моей палаткой в дупле старой осины с рассвета и до темна не затихала дятлиха. Она, наверно, сидела там на яичках и с рассвета и до темна не прерывала почти слитный царапный звук «кти-кти-кти». В нем была какая-то машинная неумолимость, бесстрастность и самозабвение, и он стучал мне в темя, как поклев. По кустам и деревьям, не отлучаясь далеко от осины, все время сновал дятел, – искал корм. Когда он подлетал к дуплу, в звуке «кти-кти-кти» возникал мгновенный перебой, тут же возобновлявшийся и сгонявший дятла с осины. Безгласный, остервенелый и яркий, он целыми днями метался тут как огненный осколок, и я возненавидел дятлиху и не мог постичь, как дятел выносил эту свою каторжную жизнь. Я попробовал подвешивать на сучья ольхи толстых малиновых выползков, – такого вполне хватало, чтобы она заткнулась там в дупле хотя бы на полчаса, но выползки не привлекали дятла. Однажды он пропал. Его не было минуту, две, три и четыре, а «кти-кти-кти» к тому времени превратилось в пульсирующий болью незримый буравчик, проникавший сквозь темя в сердце, и я пошел на розыски дятла. Он сидел рядом с осинкой на теневой стороне сосны, загородившись ею и прижавшись к коре. У него был разинут клюв и распластаны крылья – отдыхал. Я тогда решил, что смогу написать еще вторую повесть, что жизнь – это черт знает что такое, хорошее, конечно, и что мне надо много работать и лишь изредка прятаться от нее, чтобы набираться сил к встрече с неизбежным...

На следующий день перепал ласковый тучевой дождь под радугой и начался настоящий клев. Брали перестарки подлещики, уже тронутые медной окалиной, и большие горбатые окуни с малиновым опереньем, не хуже чем у дятла. К вечеру я набил ими садок, снял палатку и отнес Звукарихе пустую бутылку с тряпичным кляпом вместо пробки, пять подлещиков и пять окуней. Она насильно – тоже на счастье – дала мне десяток яиц, крупных и золотисто-смуглых, будто окрашенных луковой кожурой. В город я въехал в ранние сумерки, когда еще не зажигают фонари, когда даль улицы тонет в исчадно-легкой пелене и люди там кажутся маленькими и светятся как моль. В такое время на память почему-то приходят блоковские стихи и старинная светло-печальная музыка и о себе думается с уважением и надеждой. Я ехал медленно. «Росинант» вел себя молодцом, он не фыркал и не подсигивал, и на нас мало кто обращал внимание. От всего этого мне было хорошо, и я не то что безразлично, а просто философски

готовно отнесся к тому, что не увидел на месте свой гараж. Я возвел его мгновенно, за одну ночь, по соседству с домовою помойкой, где уже стояли три таких гаража, тоже спешно сделанных в темноте из обломков досок, старого кровельного железа и фанерных ящиков. Нас, «владельцев», несколько раз вызывали в домоуправление, но мы не спешили туда являться и не снимали с гаражных дверей предписаний о добровольном сносе своих незаконных сооружений – предписания печатались на папиросной бумаге и больше двух дней не продерживались. Конечно, вид у наших гаражей был вполне трущобный, не настраивавший общественность дома на умиление, зато с улицы за ними не был виден помойно-мусорный ларь – огромный, мерзостно пахучий и всегда переполненный. Теперь ларь открывался со всех сторон, а площадки, где стояли гаражи, были расчищены и посыпаны песком. Я заехал на свой прибранный пятак и попытался предположить, как разорялись гаражи – вручную или бульдозером. Если вручную, то был смысл спросить у кого-нибудь, куда делись моя канистра с маслом, воронка, паяльная лампа и лыжи, а если бульдозером, то об этом не стоило беспокоиться. Я сидел в «Росинанте» и поглядывал на окна своего дома, – кое-где там зажигались огни, и мне были видны силуэты жильцов, прильнувших к подоконникам: конечно, им сейчас интересно было понаблюдать за мной издали, да еще сверху! Тут требовалось вести себя достойно, и я запел «Широка страна моя родная», запел, понятно, не во весь голос, но и не шепотом, и переложил в садке рыбу так, чтобы крупная лежала сверху, а мелкая внизу. Яйца я вместил в берет, и они улеглись там ладно и согласно, как в гнезде. За «Росинант» волноваться не следовало, кроме меня его едва ли кто смог бы завести, но я на всякий случай поднял капот и стал вынимать ротор. Я вынимал его, а сам пел, поэтому не видел и не слышал, как подошел и остановился позади меня Вениамин Григорьевич Владыкин. Когда я оглянулся, он сидел на корточках возле моего садка с рыбой и берета с яйцами и разглядывал не рыбу, а яички, и рядом с ним стояло пустое мусорное ведро. Я прервал песню и поздоровался, а он опустил в берет яйцо и спросил, чьи это.

– Яички? Цаплиные, – сказал я. Мне до сих пор непонятно, что толкнуло тогда меня на эту вздорную мальчишескую ложь. Прозаичность правды, что яйца куриные? Смущение оттого, что мне посулила за них бабка Звукариха? Возможно. Но не исключена и другая причина. Когда Вениамин Григорьевич положил в берет изученное им яйцо и спросил «чьи это», я понял, что он не признал их за куриные, и мне просто оказалось не по силам разуверить его в ошибке.

– Цаплиные? – переспросил он и поднялся с корточек. Я подтвердил и тут же захотел подарить их ему как свой приозерный трофей, – цаплиные яйца не часто попадают в жизни. – Н-да, – сказал он, забирая свое ведро. – Это вы зря. Зачем же... Выводок весь загубили. Нехорошо.

– Может, это и не цаплиные, там ничего не было видно, – сказал я.

– Чего не было видно? – хмуро спросил он.

– Не видно самих цапель, только гнезда, – пояснил я. – Мне показалось, что они оставлены...

Он с сомнением произнес «гм» и пошел прочь, а я подумал, что рукопись моя уже прочитана и что она ему не понравилась, иначе он воздержался бы от выговора мне за цаплиные яйца. Я окликнул его по имени-отчеству и независимым тоном удачливого рыбака предложил окуней и подлещиков.

– Возьмите и сочините себе, пожалуйста, уху, – сказал я, – мне все равно некуда это деть. Он полуобернулся, помедлил и отказался.

– Это ведь всего-навсего рыба, – уточнил я.

– Да нет, зачем же, – неуверенно сказал он. Садок с рыбой я понес к дому в правой руке, удерживая его на отлете, чтоб заметней был, а берет с яйцами – на ладони левой, чтоб тоже как следует виднелся людям. Я шел метрах в пяти сзади Вениамина Григорьевича, и на середине

двора, где нам надо было разойтись по своим подъездам, он замедлил шаг, оглянулся и сказал, что повесть мою прочитал давно.

– Она, знаете, не подойдет нам... Так что вы можете забрать... завтра или когда там.

Его, наверно, раздражало то, как я держал берет с яйцами, потому что глядел он на него, а не на меня. Я молчал и не изменял положения левой руки. Вениамин Григорьевич кашлянул и двинулся к своему подъезду, а я к своему. Соседка по лестничной клетке, которой я отдал рыбу, сообщила мне по собственной охоте, что гаражи ломали бульдозером аж в прошлую субботу. Я умышленно безразлично сказал «ай-яй-яй», и она растерянно улынулась.

В моей комнатенке было уныло и бесприютно. Я вспомнил про дятла, вымыл пол, потом принял душ и до полночи думал, как жить с завтрашнего дня: денег оставалось месяца на полтора, если тратить по трояку в день. Мне представилось, что в сущности я большой горемыка и неудачник, не наживший к тридцати годам ни кола ни двора. Ну что я умею делать? Рыбу ловить? И на кой черт было обещать себе то, что не в состоянии исполнить? Я хотел побыть перед собой несчастным и никчемным человеком, и это мне вполне удалось, – я даже мысленно увидел свои собственные похороны, «без жены и друга» за гробом...

Утром все это у меня прошло. При солнце и радостном визге ласточек оказалось, что мне всего-навсего двадцать девять лет, что у меня, как-никак, есть «Росинант», отличная заграничная обувь, свитеры и рубашки, а что касается специальности, то я могу работать директором, например, кинотеатра, учителем, шофером, слесарем-водопроводчиком, грузчиком или рыбаком на траулере. Я тщательно побрился, сделал из пяти яиц глазунью и съел ее неторопливо и серьезно, потому что верил в пожелание бабки Звукарихи. Потом я оделся и сбежал во двор. У «Росинанта» был какой-то справный и даже внушительный вид, – под ним празднично сиял аккуратный песчаный квадрат, издали смахивающий на ковровую подстилку, и завелся он с полуоборота, и двинулся с места без подсигов. Я опустил боковое стекло и вслух поприветствовал солнце, ласточек, людей на тротуарах и в автобусах, а затем уважительно поздоровался сам с собой и поехал в издательство за рукописью. Я поехал кружным путем, чтобы не обмигнуть набережную и мост. На нем плечом к плечу стояли рыбаки с удочками вдопуск, и я подумал, что в такой тесноте неизбежны помехи друг другу, и тут обязательно надо было пожелать людям мира и удачи, – хотя бы издали. В тот день кто-то делал все так, чтобы потом, позже, нам нельзя было решить, выдался ли он таким к худу или к добру. До того как мне встретиться у подъезда издательства с «хемингуэйкой» и пышкой, я увидел на тротуаре девочку-цыганку, продававшую цветы – всего два пучка. То, что она была в длинном ветхом платишке, босая и непокрытая, грозило разорением всему утру, и я купил у нее оба пучка, составленные из поблекших уже фиалок, нерасцветшего чебреца и нескольких стеблей ландыша.

– Купи, купи, пожалуйста! Богатый будешь, счастливый будешь, только не скупись!

Цыганке, наверно, было лет четырнадцать. Я дал ей два рубля, и она засмеялась, показав два больших сахарно-белых передних зуба. Чебрец чуть-чуть розовел, и глазки его были слепые, но от них уже летуче пахло степной зарей и медом. Девочка называла ландыши колокольцами, а чебрец – мятухой. Она не прятала свои нелепые и трогательные зубы, и нельзя было не смеяться с ней вместе.

Редактрис – пышку и вторую – я настиг недалеко от подъезда издательства. Они, видать, не торопились на свой шестой этаж в конуру рядом с туалетной, потому что шли так, как ходят вечерами по набережной. Я остановился впереди них, вышел из машины и поклонился издали. Пышка первой сказала «здравствуйте» и спросила, куда так рано летят альбатросы. Она смотрела на меня уважительней, чем в тот раз, и в слове «альбатросы» умышленно, как мне показалось, сделала ударение на втором «а». Ее подруга невесело усмехнулась, глядя в сторону «Росинанта», и вдруг спросила, виделся ли я с Владыкиным. Теперь трудно предположить, что толкнуло меня тогда взять и рассказать им о своей встрече с Вениамином Григорьевичем возле помойки, о «цаплиных» яичках и рыбе, – наверно, сознание своей независимости, поскольку

с повестью тут все было уже решено. Пышка сказала: «Потрясно» – и засмеялась, а ее подруга наставительно заметила, что мне не следовало отдавать рукопись сразу главному редактору, да еще жаловаться на них, младших.

– Господи, у вас же там какие-то грифы-индейки похожи на русских княгинь в вечерних туалетах! – сказала пышка. – Вы видели их когда-нибудь?

– Индеек? – спросил я.

– Княгинь, несносный вы Кержун! – капризно сказала она. Пышке было весело, как и мне, и то, что она назвала меня несносным Кержуном, хорошо и нужно легло на мое сердце – ведь стояло ликующее утро, еще крепко свежее, молодое и чистое, когда добровольно безработному мужчине совершенно необходима дорогая прочная одежда под стойким запахом одеколona «Шипр» или в крайнем случае «Кремль». В тот раз все это было на мне и со мной, о чем я не мог не знать, и обе женщины были одеты по-весеннему изысканно, о чем они, как я видел, тоже не могли не знать и не помнить. Им, конечно же, не хотелось торопиться в свою конуру на шестом этаже, и я не без галантной рисовки извлек из машины цыганкины цветы и вручил по пучку каждой. «Хемингуэйка» тогда почему-то смутилась, а пышка шутиливо и неумело сделала книксен и сказала: «Благодарим-с».

– Вы не находите, что нам следует в таком случае познакомиться? – спросила она. Я назвал свое имя и отчество и шаркнул ботинком, – им вполне уместно было шаркать, потому что он выглядел новым, прочным и аспидно сверкавшим, как лоб малайца. Пышка первой подала мне руку, – она просто вложила в мою ладонь щепоть теплых безвольных пальцев и сказала невнятно и слитно:

– Вераванна.

Ее подруга назвала только фамилию – Лозинская. Она назвала ее чересчур уж нажимно и четко. Рука у нее была породистая – сухая, крепкая и узкая, и меня подмывало брякнуть: «Ах, какие мы аристократки, мадам!»

В своей конуре на шестом этаже они вернули мне рукопись, – оказывается, Владыкин держал ее у себя всего лишь семь дней. У меня не прошел приступ галантности, и, прощаясь, я поцеловал им руки. Тогда выдалась какая-то неприятная пауза, – женщины почему-то построжили, будто я их обидел, во мне же ничего не пропало, что вселилось утром, и поэтому уйти от них виноватым в чем-то не хотелось. Я подошел к двери, загородил ее своей спиной и сказал, что километрах в пятнадцати от города мне известен лесной ручей в зарослях поздней черемухи. Там, сказал я, прорва соловьев, свежести и свободы, и бог сегодня послал меня, Антона Павловича Кержуна, в эту дыру затем, чтобы я показал ее обитателям все это.

– Сейчас прямо? Мы же на работе, Антон Павлович! – беспомощно сказала Вераванна. – Вот после пяти, наверно, смогли бы...

Лозинская пристально взглянула на нее и недоуменно пожала плечом.

– Лично я не смогу ни днем, ни вечером, товарищ Кержун. Весьма признательна вам за внимание, – сказала она. Я подумал, что в конце концов можно показать весну и одной пышке, и не стал настаивать, хотя и пообещал Лозинской любой из тех двух снимков Хемингуэя, что ездили со мной в машине. Это получилось у меня немного неуклюже, как ребячий посул капризе, но исправлять тут что-нибудь было уже поздно...

В «Росинанте» я просмотрел рукопись. На полях страниц то и дело попадались вопросительные и восклицательные знаки. Они были аккуратные, цветные и сочные, – то синие, то красные, и сама старательность их начертания понуждала к какой-то немой робости перед ними и в то же время рождала недоверие к самому себе. Мне надо было сохранить – хотя бы до вечера – ощущение моего радостного утра, и я поехал за город и занялся «Росинантом». Я почистил его внутри и снаружи, потом нарвал одуванов и гирляндой из них окантовал кромки сидений.

В городе было почти знойно. Дома я принял душ, сделал из пяти яиц глазунью, и она оказалась такой же, как и утром. У меня оставалась еще уйма времени, и по дороге к издательству я купил две бутылки румынского шампанского, коробку марокканских сардин, халу и килограммовую банку маринованных слив. Покупки я сложил на заднее сиденье. Мне было хорошо, что они есть и лежат там, и я поехал с недозволенной скоростью и у подъезда издательства увидел Лозинскую. Одну. Она оглянулась по сторонам и сухо сказала мне издали, что Вера Ивановна выйдет позже.

– Вы не могли бы проехать немного вперед? За угол?

Я сказал «Ради бога» и поехал вперед, за угол, а она пошла вслед за мной по тротуару. У нее был какой-то надменно-брезгливый вид, и я подумал, что она, наверно, горда и глупа, как цесарка. Мне стало жаль обещанного ей снимка Хемингуэя – любого, но тут уже ничего нельзя было поделаться и оставалось только гадать, какой из них она выберет.

За углом я остановился и стал ждать, загодя приоткрыв переднюю дверцу, но она подошла к «Росинанту» с моей левой стороны, и вид у нее был по-прежнему надменный.

– Понимаете, товарищ Кержун, я не посчитала нужным сказать в свое время Вере Ивановне, что вы... помогли мне однажды, – сказала она смущенно и насильно.

– Подвезти матрац? – догадался я и не стал выходить из машины.

– Ну да, – недовольно сказала она. – Поэтому ваше обещание подарить мне снимки Хемингуэя, которые я будто бы уже видела, прозвучало для нее... немного странно.

– Я просто обмолвился, – сказал я. – Вы их заметили только теперь. Это вас устраивает?

– Но ведь вы сказали, что я видела снимки раньше... Их нельзя повернуть обратной стороной? Чтобы они просматривались через стекло?

– Пожалуйста, – сказал я. – Но каким образом я узнал, что они вам понравились? Вы, значит, сказали мне об этом?

– Да. Это было, допустим, три дня тому назад. Я вас случайно встретила в городе...

– Не получается, – сказал я сочувственно. – Я ведь только вчера вечером вернулся с озера, и мы встретились с вашим Владыкиным на помойке. Забыли?

– Ах да!.. Какой все же общительный у вас характер! – досадливо сказала она.

– Разве нельзя объяснить вашей подруге, почему иногда об одном скажешь, а о другом умолчишь? – спросил я. Она искоса и как-то пытливо посмотрела на меня, но сказать ничего не успела, потому что к машине подходила Вераванна. Я вышел на тротуар и распахнул обе дверцы машины – переднюю и заднюю, кому, дескать, где нравится, и, может, из-за того, что позади неприкрыто и откровенно лежали бутылки, обеим женщинам понравилось первое сиденье. Тогда у них произошла короткая заминка, – они мягко столкнулись и молча отступились от дверцы, ожидая одна другую, но вторичного столкновения не последовало: Вераванна порывисто села сзади, а я немного повозился у радиатора, чтобы скрыть лицо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.